

КНИГА ПЕРВАЯ

ГЛАВА I

Летний вечер, сумерки...

Торговый центр американского города, где не менее четырехсот тысяч жителей, высокие здания, стены... Когда-нибудь, пожалуй, станет казаться невероятным, что существовали такие города.

И на широкой улице, теперь почти затихшей, группа в шесть человек: мужчина лет пятидесяти, коротенький, толстый, с густой гривой волос, выбивающихся из-под круглой черной фетровой шляпы, — весьма невзрачная личность; на ремне, перекинутом через плечо, небольшой органчик, каким обычно пользуются уличные проповедники и певцы. С ним женщина, лет на пять моложе его, не такая полная, крепко сбитая, одета очень просто, с некрасивым, но не уродливым лицом; она ведет за руку мальчика лет семи и несет Библию и книжечки псалмов. Вслед за ними, немного поодаль, идут девочка лет пятнадцати, мальчик двенадцати и еще девочка лет девяти; все они послушно, но, по-видимому, без особой охоты следуют за старшими.

Жарко, но в воздухе чувствуется приятная истома.

Большую улицу, по которой они шли, под прямым углом пересекала другая, похожая на ущелье; по ней сновали толпы людей, машины и трамваи, которые непрерывно звонили, прокладывая себе путь в стремительном потоке общего движения. Маленькая группа казалась, однако, равнодушной ко всему и только старалась пробраться между захлестывавшими ее встречными потоками машин и пешеходов...

Дойдя до угла, где путь им пересекала следующая улица, — вернее, просто узкая щель между двумя рядами высоких зданий, лишенная сейчас всяких признаков жизни, — мужчина поставил органчик на землю, а женщина немедленно открыла его, подняла пюпитр и раскрыла широкую тонкую книгу псалмов. Затем, передав Библию мужчине, стала рядом с ним, а старший мальчик поставил перед органчиком небольшой складной стул. Мужчина — это был отец семейства — огляделся с напускной уверенностью и провозгласил, как будто вовсе не заботясь, есть ли у него слушатели:

— Сначала мы пропоем хвалебный гимн, и всякий, кто желает восславить Господа, может к нам присоединиться. Сыграй нам, пожалуйста, Эстер.

Старшая девочка, стройная, хотя еще и не вполне сложившаяся, до сих пор старалась держаться возможно более безразлично и отчужденно; теперь она села на складной стул и, вертя ручку органчика, стала перелистывать книгу псалмов, пока мать не сказала:

— Я думаю, мы начнем с двадцать седьмого псалма: «Как сладостен бальзам любви Христовой».

Тем временем расходившиеся по домам люди разных профессий и положений, заметив группу с органчиком, нерешительно замедляли шаг и искоса оглядывали ее или приостанавливались, чтобы узнать, что происходит. Этой нерешительностью, истолкованной как внимание, человек у органчика немедленно воспользовался и провозгласил, словно публика специально собралась здесь послушать его:

— Споем же все вместе: «Как сладостен бальзам любви Христовой».

Девочка начала наигрывать на органчике мелодию, привлекая слабые, но верные звуки, и запела; ее высокое сопрано слилось с сопрано матери и весьма сомнительным баритоном отца. Другие детишки — девочка и мальчик, взяв по книжке из стопки, лежавшей на органе, слабо попискивали вслед за старшими. Они пели, а безлика, безучастная уличная толпа с недоумением глазела на это невзрачное семейство, возвысившее голос против всеобщей

го скептицизма и равнодушия. В некоторых возбуждала интерес и сочувствие застенчивая девочка у органа, в других — непрактичный и жалкий вид отца, чьи бледно-голубые глаза и вялая фигура, облаченная в дешевый костюм, выдавали неудачника. Из всей семьи одна лишь мать обладала той силой и решительностью, которые — как бы ни были они слепы и ложно направлены — способствуют если не успеху в жизни, то самосохранению. В ней больше, чем в ком-либо из остальных, видна была убежденность, хотя и невежественная, но все же вызывающая уважение. Если бы вы видели, как она стояла с книгой псалмов в опущенной руке, устремив взгляд в пространство, вы сказали бы: «Да, вот кто при всех своих недостатках, несомненно, стремится делать только то, во что верит». Упрямая, стойкая вера в мудрость и милосердие той всевидящей, могущественной силы, к которой она сейчас взывала, читалась в каждой ее черте, в каждом жесте.

Любовь Христа, ты мне опорой будь,
Любовь Иисуса — праведный мой путь, —

звучно и немного гнусаво пела она, едва заметная среди громадных зданий.

Мальчик, опустив глаза, беспокойно переминался с ноги на ногу и подпевал не очень усердно. Высокий, но еще не окрепший, с выразительным лицом, белой кожей и темными волосами, он казался самым наблюдательным и, несомненно, самым чувствительным в этой семье; ясно было, что он недоволен своим положением и даже страдает от него. Его больше привлекало в жизни языческое, чем религиозное, хотя он пока еще не вполне это признавал. Только в одном не приходилось сомневаться: у него не было призвания к тому, что его заставляли делать. Он был слишком юн, душа его — слишком отзывчива ко всякому проявлению красоты и радости, столь чуждых отвлеченной и туманной романтике, владевшей душами его отца и матери.

И в самом деле, материальная и духовная жизнь семьи, членом которой он был, не убеждала его в реальности и силе того, во что, видимо, так горячо верили и что пропо-

ведовали его мать и отец. Напротив, их постоянно тревожили всякие заботы, и прежде всего материальные. Отец всегда читал Библию и выступал с проповедями в различных местах, а главным образом в «миссии», расположенной неподалеку отсюда, — он руководил ею вместе с матерью. В то же время, насколько понимал мальчик, они собирали деньги от разных деловых людей, интересующихся миссионерской работой или склонных к благотворительности и, видимо, сочувствовавших деятельности отца. И все же семье приходилось туго: всегда они были неважно одеты, лишены многих удобств и удовольствий, доступных другим людям. А отец и мать постоянно прославляли любовь, милосердие и заботу Бога о них и обо всех на свете. Тут явно что-то не так. Мальчик не умел разобраться в этом, но все же относился к матери с невольным уважением; он ощущал внутреннюю силу и серьезность этой женщины так же, как и ее нежность. Несмотря на тяжелую работу в миссии и на заботы о семье, она умела оставаться веселой или, по крайней мере, не теряла бодрости; она часто восклицала с глубоким убеждением: «Господь позаботится о нас!» или «Господь укажет нам путь!» — особенно в такие времена, когда семья уж слишком нуждалась. И однако — это понимали и он, и другие дети, — Бог не указывал им никакого выхода даже тогда, когда его благодетельное вмешательство в дела семьи было крайне необходимо.

В этот вечер, бродя по большой улице вместе с сестрами и братишкой, мальчик горячо желал, чтобы все это кончилось раз и навсегда или, по крайней мере, чтобы ему самому не приходилось больше в этом участвовать. Другие мальчики не занимаются такими вещами, есть тут что-то жалкое и даже унижительное. Не раз, еще прежде чем его стали вот так водить по улицам, другие ребята дразнили его и смеялись над его отцом за то, что тот всегда во всеуслышание распространялся о своей вере и убеждениях. Отец всякий разговор начинал словами: «Хвала Господу» — и все ребята по соседству с домом, где они жили, когда мальчику было семь лет, выкрикивали, завидев отца:

— Грифитс, Грифитс! «Хвала Господу», Грифитс!

Или кричали вслед мальчику:

— Вон у этого сестра играет на органчике! А еще на чем она играет?

И зачем только отец твердит повсюду свое «хвала Господу!» Другие так не делают.

В нем, как и в дразнивших его мальчишках, говорило извечное людское стремление к полному сходству, к стандарту. Но его отец и мать были не такие, как все; они всегда слишком много занимались религией, а теперь наконец сделали ее своим ремеслом.

В этот вечер, на большой улице с высокими домами — шумной, оживленной, полной движения, — он со стыдом чувствовал себя вырванным из нормальной жизни и выставленным на посмешище. Великолепные автомобили пронеслись мимо, праздные пешеходы спешили к занятиям и развлечениям, о которых он мог лишь смутно догадываться, веселые молодые пары проходили со смехом и шутками, малыши глазели на него, — и все волновало ощущением чего-то иного, лучшего, более красивого, чем его жизнь или, вернее, жизнь его семьи.

В праздной и зыбкой уличной толпе, которая непрерывно переливалась вокруг, иные, казалось, чувствовали, что в отношении этих детей допускается психологическая ошибка: некоторые подталкивали друг друга локтем, более искушенные и равнодушные поднимали бровь и презрительно улыбались, а более отзывчивые или опытные говорили, что присутствие детей здесь излишне.

— Я вижу здесь этих людей почти каждый вечер — два-три раза в неделю уж во всяком случае. — Это говорит молодой клерк. Он только что встретился со своей подругой и ведет ее в ресторан. — Наверно, какое-нибудь шарлатанство под видом религии, — прибавляет он.

— Старшему мальчишке это не по душе. Видать, он чувствует себя не в своей тарелке. Не годится такого мальчонку выставять напоказ, коли ему неохота. Он же ничего не смыслит в этих делах, — говорит праздный бродяга лет сорока, один из своеобразных завсегдатаев торгового центра города, обращаясь к остановившемуся рядом, добродушному на вид прохожему.

— Да, я тоже так думаю, — соглашается тот, заинтересованный незаурядным лицом мальчика. Смущение и неловкость видны были на этом лице, когда мальчик поднимал голову; нетрудно было понять, что бесполезно и бессердечно принуждать существо с еще не установившимся характером, неспособное постичь психологический и религиозный смысл всего этого, к участию в подобных публичных выступлениях, более подходящих для людей зрелых и вдумчивых.

И все же ему приходилось подчиняться.

Двое младших детей — девочка и мальчик — были слишком малы, чтобы по-настоящему понимать, чем они тут занимаются, и им было все равно. Старшей же девочке у органчика, видимо, даже нравилось внимание зрителей и их замечания о ее наружности и пении, так как не только посторонние люди, но даже отец и мать не раз уверяли, будто у нее прелестный, милый голосок, хотя это было не совсем верно. Голос был не так уж хорош, но все они плохо разбирались в музыке. Девочка — слабенькая, худенькая — ничем особенно не выделялась, в ней не заметно было и признаков духовной силы или глубины. Неудивительно, что пение оказалось для нее единственной возможностью хоть немного выделиться и обратить на себя внимание.

А родители твердо решили способствовать, насколько возможно, духовному очищению общества, и, когда первый псалом был окончен, отец начал разглагольствовать о той радости, которая нисходит на грешников, освобождающихся от тяжких мук совести по воле Господа, благодаря Его милосердию и любви Христовой.

— Все люди — грешники перед лицом Господа, — провозгласил он. — Доколе они не покаются, доколе не приняли Спасителя, Его любовь и всепрощение, не ведают им счастья, душевной чистоты и непорочности. Друзья мои! Если б вы знали, какой мир и покой нисходят на того, кто всем сердцем постигает, что Христос жил и умер ради всех нас, что Он сопровождает нас ежедневно и ежедневно, при свете и во мраке, на рассвете и на закате дня, дабы поддержать и укрепить нас для трудов и забот, вечно

стоящих перед нами. Да, всех нас на каждом шагу подстерегают западни и ловушки! Но как утешительно сознание, что Христос всегда с нами, дабы советовать нам и помогать, ободрять нас, исцелять наши раны и облегчать наши муки! Благая мысль — какой она дарит покой и довольство!

— Аминь! — торжественно заключила жена.

И старшая дочь Эстер — домашние звали ее Эста, — чувствуя, как важно им привлечь внимание публики, эхом повторила за матерью:

— Аминь!

Клайд, старший мальчик, и двое младших детей смотрели в землю и лишь изредка взглядывали на отца; может быть, думалось им, все, о чем он говорит, и верно и важно, но все же не столь значительно и привлекательно, как многое другое в жизни. Они уже наслушались всего этого, и их юный и пылкий ум ждал от жизни большего, чем вот эти проповеди на улице и в миссии.

В конце концов после второго псалма и после небольшой речи, в которой миссис Гриффитс упомянула о руководимой ими миссии, помещавшейся на ближайшей улице, и об их служении заветам Христа вообще, публику ошастливили третьим псалмом и одарили брошюрками о спасительных трудах миссии, а Эйса Гриффитс, глава семьи, собрал кое-какие добротные даяния. Органчик закрыли, складной стул сложили и вручили Клайду, Библию и книжечки псалмов собрала миссис Гриффитс, и, когда органчик был перекинут на ремне через плечо Гриффитса-старшего, семейство направилось к миссии.

Все это время Клайд говорил себе, что больше не желает заниматься этим, что он и его родные смешны и не похожи на других людей; «уличные паяцы» — сказал бы он, если бы мог полностью выразить свою досаду на вынужденное участие в этих выступлениях. Он постарается никогда больше в них не участвовать. Чего ради его таскают за собой? Такая жизнь не по нем. Другим мальчикам не приходится заниматься подобными вещами. Решительнее, чем когда-либо, он помышлял о бунте, который помог бы ему отделаться от всего этого. Пускай старшая сестра ходит по улицам с органом — ей это нравится. Млад-

шие сестренка и братишка слишком малы, им все равно. Но он...

— Кажется, сегодня вечером публика была несколько внимательнее, чем обычно, — заметил Гриффитс, шагая рядом с женой. Очарование летнего вечера подействовало на него умиротворяюще и заставило благоприятно истолковать обычное безразличие прохожих.

— Да, в четверг только восемнадцать человек взяли брошюры, а сегодня двадцать семь.

— Любовь Христа совершит свое дело, — сказал отец, столько же стараясь подбодрить себя, как и жену. — Мирские утехи и заботы владеют великим множеством людей, но, когда скорбь посетит их, иные из посеянных ныне семян дадут всходы.

— Я в этом уверена. Мысль эта всегда поддерживает меня. Скорбь и тяжесть греха в конце концов заставят некоторых понять, что путь их ложен.

Они повернули в узкую боковую улицу, из которой ранее вышли, и, миновав несколько домов, вошли в желтое одноэтажное деревянное здание, широкие окна которого и два стекла входной двери были покрыты светло-серой краской. Поперек обоих окон и филенок двойной двери было написано: «Врата упования. Евангелическая миссия. Молитвенные собрания по средам и субботам от 8 до 10 часов вечера. По воскресеньям — в 11, 3 и 8 часов. Двери открыты для всех». Под этой надписью на каждом окне были начертаны слова: «Бог есть любовь», а еще ниже помельче: «Сколько времени ты не писал своей матери?»

Маленькая группа вошла в желтую невзрачную дверь и скрылась.

ГЛАВА II

Вполне можно предположить, что у семьи, которая так бегло представлена читателю, должна быть своя, отличная от других, история; так в действительности и было. Семья эта представляла собой одну из психических и социальных аномалий — в ее побуждениях и поступках мог

бы разобраться только самый искусный психолог, да и то лишь при помощи химика и физиолога. Начнем с Эйсы Гриффитса — главы семьи. Это был человек неуравновешенный и не слишком одаренный — типичный продукт своей среды и религиозных идей, неспособный мыслить самостоятельно, но восприимчивый, а потому и весьма чувствительный, к тому же лишенный всякой проницательности и практического чутья. В сущности, трудно было уяснить, каковы его желания и что, собственно, привлекает его в жизни. Жена его, как уже говорилось, была тверже характером и энергичнее, но едва ли обладала более верным или более практическим представлением о жизни. История этого человека и его жены интересна для нас лишь постольку, поскольку она касается их сына, двенадцатилетнего Клайда Гриффитса. Скорее от отца, чем от матери, этот подросток унаследовал некоторую чувствительность и романтичность; вдобавок он отличался пылким воображением и стремлением разобраться в жизни и постоянно мечтал о том, как он выбился бы в люди, если бы ему повезло, о том, куда бы поехал, что повидал бы и как по-иному бы жил, если бы все было не так, а эдак. До пятнадцати лет Клайда особенно мучило (и ему еще долго потом тяжело было об этом вспоминать), что призвание или, если угодно, профессия его родителей была в глазах других людей чем-то жалким и недостойным. Родители проповедовали на улицах и руководили евангелической миссией в разных городах — в Грэнд-Рэпидсе, Детройте, Милуоки, Чикаго, а последнее время в Канзас-Сити; и всюду окружающие — по крайней мере мальчики и девочки, которых он встречал, — с явным презрением смотрели и на него, и на его брата и сестер — детей таких родителей! Не раз, к неудовольствию отца и матери, которые никогда не одобряли подобных проявлений характера, он вступал в драку с кем-нибудь из мальчишек. Но всегда, побежденному или победившему, ему ясно давали понять, что другие не уважают труд его родителей, считают их занятие жалким и никчемным. И он непрерывно думал о том, что станет делать, когда получит возможность жить самостоятельно.

Родители Клайда оказались совершенно неспособными позаботиться о будущем своих детей. Они не понимали, что каждому из детей необходимо дать какие-то практические или профессиональные знания; наоборот, поглощенные одной идеей — нести людям свет евангельской истины, они даже не подумали устроить детей учиться в каком-нибудь одном городе. Они переезжали с места на место, часто в разгар учебного года, в поисках более широкого поля для своей религиозной деятельности. Порою эта деятельность вовсе не приносила дохода, а поскольку Эйса был не в состоянии заработать много, работая садовником или агентом по продаже новинок — только в этих двух занятиях он кое-что смыслил, — в такие времена семья жила впроголодь, одевалась в лохмотья, и дети не могли ходить в школу. Но что бы ни думали о таком положении сами дети, Эйса и его жена и тут сохраняли неизменный оптимизм; по крайней мере, они уверяли себя в том, что сохраняют его, и продолжали непоколебимо верить в Бога и его покровительство.

Семья Гриффитс жила там же, где помещалась миссия. И квартира, и миссия были достаточно мрачны, чтобы вызывать уныние у любого юного существа. Они занимали весь нижний этаж старого и неприглядного деревянного дома в той части Канзас-Сити, что лежит к северу от бульвара Независимости и к западу от Труст-авеню; дом стоял в коротком проезде под названием Бикел, ведущем к Миссури-авеню — улице подлиннее, но такой же невзрачной. И все по соседству очень слабо, однако малопривлекательно отдавало духом деловой коммерческой жизни, центр которой давно передвинулся к юго-западу от этих мест. Миссия Гриффитсов находилась кварталов за пять от того перекрестка, где дважды в неделю эти энтузиасты выступали под открытым небом со своими проповедями.

Другой стороной дом выходил на мрачные задние дворы таких же мрачных домов. С улицы дверь вела в обширный зал размером сорок на двадцать пять футов: здесь были расставлены рядами штук шестьдесят складных деревянных стульев и перед ними кафедра; стены украшала карта Святой земли — Палестины и десятка два отпе-

чатанных на картоне изречений и текстов в таком примерно роде:

«Вино — обманщик; пить — значит впасть в безумие; кто поддается обману — тот не мудр».

«Возьми щит и латы и восстань на помощь мне». Псалом 34, 2.

«И что вы — овцы мои, овцы паствы моей; вы — человеки, а я Бог ваш, говорит Господь Бог». Книга пророка Иезекииля, 34, 31.

«Боже! Ты знаешь безумие мое, и грехи мои не сокрыты от Тебя». Псалом 68, 6.

«Если вы будете иметь веру с горчичное зерно и скажете горе сей: «Перейди отсюда туда», — и она перейдет; и ничего не будет невозможного для вас». От Матфея, 17, 20.

«Ибо близок день Господень...» Книга пророка Авдия, 1, 15.

«Злой не имеет будущности». Притчи, 24, 20.

«Не смотри на вино, как оно краснеет... как змей, оно укусит и ужалит, как аспид». Притчи, 23, 31—32.

Эти всеильные заклинания были развешаны на грязных стенах, точно серебряные и золотые скрижали.

Остальная часть квартиры представляла собою сложную и хитроумную комбинацию комнат и комнатушек; тут были три маленькие спальни, гостиная, выходящая окнами на задворки и на деревянные заборы других таких же дворов, затем кухня, она же и столовая, размером ровно в десять квадратных футов, и маленькая кладовая, где сложено было имущество миссии: брошюры, книжечки псалмов, сундуки, ящики и всякие другие вещи, которые могли понадобиться не каждый день, но представляли в глазах семьи известную ценность. Эта комнатка-кладовая примыкала непосредственно к залу, где происходили молитвенные собрания, и сюда удалялись мистер и миссис Гриффитс для размышления и для молитвы перед проповедью, или после нее, или в тех случаях, когда им надо было о чем-либо посоветоваться.

Часто Клайд, его сестры и младший брат видели, как мать, или отец, или оба вместе увещевали здесь какую-нибудь заблудшую или полураскаявшуюся душу, пришедшую

просить совета или помощи (чаще помощи). И здесь же во времена наибольших финансовых затруднений отец и мать сидели и размышляли или, как иногда беспомощно говорил Эйс Грифитс, молили Бога указать им выход из положения. Как позже стал думать Клайд, это плохо помогало им найти выход.

И все вокруг было так мрачно и уныло, что Клайду стала ненавистна самая мысль о том, чтобы жить здесь и впредь, а еще ненавистнее — заниматься делом, служители которого вынуждены постоянно прибегать к кому-то за помощью, вечно молиться и выпрашивать подачки.

Эльвира Грифитс, прежде чем выйти замуж за Эйсу, была просто полуграмотной девушкой с фермы и очень мало задумывалась над вопросами религии. Но, влюбившись в Эйсу, она заразилась от него ядом евангелизма и прозелитизма и восторженно и радостно последовала за ним, разделяя все его рискованные затеи и причуды. Ей льстило сознание, что она может проповедовать, петь псалмы, что она способна убеждать и подчинять себе людей силою «слова Божия». Это давало ей известное нравственное удовлетворение и укрепляло желание работать вместе с мужем.

Изредка иные слушатели шли за проповедниками до их миссии либо, прослышав о ней, приходили туда позже — странные, морально неуравновешенные и неустойчивые люди, каких можно найти повсюду. Все годы, пока Клайд не мог еще сам распоряжаться собою, он был обязан помогать родителям во время этих собраний. И всегда его больше раздражали, нежели умиляли все эти приходившие в миссию мужчины и женщины; чаще это были мужчины: отбившиеся от дела рабочие, бродяги, пропойцы, неудачники, беспомощные и уродливые, которые, казалось, сходились сюда потому, что им больше некуда было идти. И всегда они возвещали о том, как Бог, или Христос, или Божественное милосердие спасли их от того или иного несчастья, и никогда не говорили о том, как сами спасли хоть кого-нибудь. И всегда отец и мать говорили «аминь» и «хвала Господу» и пели псалмы, а после собирали у присутствующих деньги на расходы по содержанию

помещения; сборы, как догадывался Клайд, были скудные: их едва хватало на то, чтобы поддерживать жалкое существование миссии.

Лишь одно обстоятельство, связанное с его родителями, по-настоящему интересовало Клайда: насколько он понимал, где-то на Востоке — в маленьком городке под названием Ликург, близ Утики, — обретался его дядя, брат отца, живший совсем по-иному. Этот дядя — его звали Сэмюэл Гриффитс — был богат. Из случайных замечаний, оброненных родителями, Клайд понял, что дядя многое мог бы для него сделать, если б только захотел, что он прижимистый, оборотистый делец, что у него в Ликурге великолепный дом и большая фабрика воротничков и рубашек, на которой работает не менее трехсот рабочих. У дяди есть сын, примерно одного возраста с Клайдом, и дочери — кажется, две. Все они жили в роскоши в этом далеком Ликурге, воображал Клайд. Эти сведения, по-видимому, так или иначе доходили на Запад через людей, знавших и Эйссу, и его брата, и их отца. Клайд представлял себе дядю каким-то Крёмом, живущим в довольстве и роскоши там, на Востоке. А здесь, на Западе, в Канзас-Сити, он, его родители, его брат и сестры кое-как перебивались со дня на день: их вечным уделом была жалкая, безысходная нужда.

Но ничто ему не поможет, если только он сам не сумеет помочь себе, — Клайд рано понял это. Лет в пятнадцать, даже немного раньше, Клайд начал понимать, что к его воспитанию, как и к воспитанию его сестер и брата, родители отнеслись, к сожалению, очень небрежно. Теперь ему трудно будет наверстать упущенное, поскольку даже в более состоятельных семьях мальчиков и девочек специально учат, готовя к той или иной профессии. С чего он мог начать при таких условиях? С тринадцати лет он стал просматривать газеты (в дом Гриффитсов они не допускались, так как чтение их считалось уж слишком «мирским» занятием) и из объявлений узнал, что всюду требуются либо уже квалифицированные работники, либо мальчики для обучения таким профессиям, которые ничуть его не интересовали. Как всякий средний молодой американец с типично американским взглядом на жизнь, он счи-

тал, что простой физический труд ниже его достоинства. Вот еще! Стоять у станка, укладывать кирпичи, стать плотником, штукатуром или водопроводчиком, когда такие же, как он, мальчики становятся клерками, или помощниками фармацевтов, или бухгалтерами и счетоводами в банках и различных конторах! Что за жалкая, унижительная жизнь, ничуть не лучше той, какую он вел до сих пор: ходить в старом платье, спозаранку подниматься по утрам и выполнять всю ту нудную работу, которой вынуждены заниматься люди физического труда!

Да, Клайд был столь же тщеславен и горд, сколь беден. Он был из тех людей, которые считают себя особенными, не похожими на других. Он никогда не чувствовал себя неотделимой частицей своей семьи и не сознавал по-настоящему, что чем-то обязан тем, благодаря кому появился на свет. Наоборот, он был склонен осуждать своих родителей, — правда, не слишком резко и сурово, с полным пониманием их качеств и способностей. Но, умея столь здраво судить о других, он, однако, до шестнадцати лет не был способен составить какой-то план действий для самого себя и хватался то за одно, то за другое.

К этому времени в нем заговорил голос пола: его влекла и волновала красота девушек, и ему хотелось знать, может ли он тоже нравиться им. И теперь он, естественно, был немало озабочен собственной внешностью и костюмом: какой у него вид и какой вид у других юношей? Он мучился, сознавая, что плохо одет, не так красив и интересен, как мог бы быть. Что за несчастье родиться бедным, ниоткуда не ждать помощи и быть не в силах помочь самому себе!

Стараясь изучить себя во всех зеркалах, какие только ему попадались, Клайд убеждался, что он вовсе не урод: прямой, точеный нос, высокий белый лоб, волнистые блестящие волосы и глаза черные, порою печальные. Однако сознание, что его семья так жалка и что из-за профессии и окружения родителей у него никогда не было и не будет настоящих друзей, все больше угнетало его и порождало меланхолию, которая не обещала для него в будущем ничего хорошего. Порою он пробовал взбунтовать-

ся, а затем впадал в оцепенение. Поглощенный мыслью о родителях, он забывал о своей внешности — он был в самом деле очень недурен, даже привлекателен — и истолковывал не в свою пользу заинтересованные, пренебрежительные и в то же время манящие взгляды, которые на него бросали девушки совсем другого круга, стараясь узнать, нравятся они ему или нет, смелый он или трусишка?

Однако еще прежде, чем он стал хоть что-то зарабатывать, он вечно мечтал: ах, если бы у него были, как у иных счастливых, хороший воротничок, тонкая рубашка, изящная обувь, хорошо сшитый костюм, щегольское пальто! О, красивая одежда, комфортабельная квартира, часы, кольца, булавки... столько юнцов щеголяют всем этим! Многие мальчики в его возрасте — уже настоящие франты! Некоторые родители дарили своим сыновьям — его ровесникам — автомобили в полную собственность. Клайд видел, как они, словно мухи, летали взад и вперед по главным улицам Канзас-Сити. И с ними были хорошенькие девушки. А у него ничего нет. И никогда не было.

А мир так богат возможностями, и столько вокруг счастливых, преуспевающих людей. За что же ему взяться? Какой путь избрать? Какое изучить дело, которое дало бы ему возможность выдвинуться? Он не мог ответить. Он не знал. А эти странные люди — его родители — сами не были достаточно сведущими и ничего не могли ему посоветовать.

ГЛАВА III

Одно событие, удручающе подействовав на всю семью Гриффитс, усилило и мрачное настроение Клайда как раз в то время, когда он пытался прийти к какому-то практическому решению: его сестра Эста (он был к ней очень привязан, хоть и имел с нею мало общего) убежала из дому с актером, который приезжал на гастроли в местный театр и мимоходом увлекся ею.

Нужно сказать, что Эста, хоть и получила строгое нравственное воспитание и бывала порой преисполнена рели-

гиозного пыла, была все же просто чувственной и безвольной девушкой: она еще не понимала себя и сама не знала, чего хочет. Обстановка, в которой жила Эста, была ей глубоко чужда. Подобно огромному большинству, исповедующему религию только на словах, она затвердила все догматы веры в раннем детстве, сама того не замечая, а смысл этих ежедневно повторяемых слов и поныне оставался ей непонятен. От необходимости думать самостоятельно она была избавлена родительскими наставлениями, законом или «откровением», и до тех пор, пока со всем этим не столкнулись другие теории, другие положения, внешние или даже внутренние побуждения, она была достаточно защищена. Но можно было заранее сказать, что, едва лишь такое столкновение произойдет, религиозные верования, не основанные на ее собственном убеждении и не вытекавшие из особенностей ее характера, не выдержат и первого толчка. Мысли и чувства Эсты, как и ее брата Клайда, постоянно вертелись вокруг любви, приятной и легкой жизни — что вряд ли совместимо с религиозными идеями самоотречения и самопожертвования. Весь ее внутренний мир и все ее мечты противоречили этим требованиям религии.

Но у нее не было ни силы Клайда, ни его сопротивляемости. Она была пассивной натурой, со смутным влечением к красивым платьям, шляпкам, туфелькам, лентам и к прочей мишуре, а религия запрещала об этом мечтать. По утрам и днем после школы, а иной раз и вечером она проходила по длинным оживленным улицам. Ей нравились девушки, гуляющие под руку и шепотом поверяющие друг другу какие-то секреты; нравились юноши — под их дурачествами и забавной неугомонностью, свойственной молодому животному, чувствовалась сила и значение того настойчивого, инстинктивного стремления найти себе пару, которое таится за всеми мыслями и поступками молодого существа. И когда Эста порою замечала где-нибудь на углу или в подъезде влюбленную пару или встречала томный, испытующий взгляд какого-нибудь искателя приключений, в ней самой поднималось смутное волнение, нервный трепет, громко говоривший в пользу всех зримых

и осязаемых радостей земной жизни, а не в пользу бесплотных радостей неба.

И взгляды юношей пронизывали ее, как невидимые лучи, потому что она была хороша собою и с каждым часом становилась все привлекательнее. И влечение молодых людей пробуждало в ней отклик, вызывало те преобразующие химические реакции, которые лежат в основе всей нравственности и безнравственности мира.

Однажды, когда она возвращалась домой из школы, какой-то фатоватый молодой человек заговорил с нею, потому что она, казалось, всем своим видом на это вызывала. И мало что могло бы остановить ее, так как она была хоть и не страстной, но податливой натурой. Однако дома ее так муштровали, внушая, сколь необходимо блюсти скромность, сдержанность, чистоту и тому подобное, что, по крайней мере в данном случае, не было опасности немедленного падения. Но за этой первой атакой последовали другие, она стала принимать ухаживания или не так быстро убегала, и постепенно была разрушена та стена сдержанности, которую воздвигло данное ей воспитание. Она стала скрытной и утаивала от родителей свои похождения.

Случалось, молодые люди, не слушая ее протестов, провожали ее, заговаривали с ней. Они победили ту чрезмерную робость, которая вначале помогала ей отстранять их. Она стала желать новых встреч, мечтать о какой-то радостной, чудесной, беззаботной любви.

Так медленно, но неудержимо росли в ней эти настроения и желания, — и тут наконец появился этот актер, один из тех тщеславных, красивых и грубых мужчин, у которых только и есть что умение одеваться да внешний лоск, но нет ни на грош нравственности, вкуса, учтивости или хотя бы подлинной нежности; зато в нем было много мужского обаяния, и он сумел за одну неделю, после нескольких встреч, так вскружить голову Эсте, что она оказалась всецело в его власти. А он, в сущности, был к ней почти равнодушен. Для этого пошляка она была просто одной из многих девчонок — довольно хорошенькая, явно чувственная и неопытная дурочка, которую можно взять

несколькими нежными словами, — надо лишь притвориться влюбленным и пообещать ей в будущем, когда она станет его женой, счастливую, привольную жизнь да поездки по новым местам.

Но ведь те же слова твердил бы и настоящий влюбленный, который остался бы верен навсегда. Она должна сделать только одно, уверял он: уехать с ним и стать его женой сейчас же, не медля. К чему промедления, когда встречаются люди, созданные друг для друга. Здесь, в этом городе, есть препятствия к их браку, — он не может объяснить, какие именно, это касается его друзей, но в Сент-Луисе у него есть друг-пастор, который их обвенчает. У нее будут новые красивые платья, каких она еще никогда и не видела, восхитительные приключения, любовь. Она будет путешествовать с ним и увидит огромный мир. У нее не будет никаких забот и тревог, ей придется заботиться только о нем... Для нее все это было правдой — словесным выражением искренней страсти; для него же это был старый удобный способ обольщения, которым он часто пользовался и раньше, и не безуспешно.

И за одну неделю, в течение которой они встречались урывками — то утром, то днем, то вечером, это нехитрое колдовство увенчалось успехом.

Как-то в апреле, в субботу вечером, Клайд довольно поздно вернулся домой после дальней прогулки (он принял ее, чтобы избежать обычных своих обязанностей во время субботнего молитвенного собрания) и нашел отца и мать в тревоге: Эста исчезла. Она, по обыкновению, играла на органе и пела во время этого собрания и казалась такой же, как всегда. Потом ушла в свою комнату, сказав, что чувствует себя не совсем хорошо и рано ляжет в постель. Но в одиннадцать часов, как раз перед возвращением Клайда, мать случайно заглянула к ней в комнату и обнаружила, что ее нет ни там, ни где-либо поблизости. Какая-то перемена в комнате — не видно было платьев и некоторых мелочей, исчез старый чемодан — привлекла внимание матери. Обыскали весь дом и убедились, что Эсты нигде нет; тогда Эйса вышел на улицу и прошел по ней из конца в конец. Эста иногда гуляла одна или просто выходила в свободное время посидеть под окнами миссии.

Но и эти поиски были тщетны. Тогда Клайд и отец прошли до угла и дальше по Миссури-авеню. Эсты нигде не было. В полночь они вернулись, и волнение в доме, разумеется, усилилось.

Сперва предположили, что Эста, ничего не сказав, отправилась куда-то на прогулку; но когда часы пробили половину первого, потом час, потом половину второго, а Эсты все не было, они уже хотели дать знать в полицию. Но тут Клайд, войдя в комнату сестры, увидел на ее узенькой деревянной кровати приколотую к подушке записку — послание, ускользнувшее от глаз матери. Он кинулся к ней, охваченный предчувствием; он ведь часто спрашивал себя, каким способом известит родителей, если решится тайно уехать от них: он знал, что они по доброй воле никогда его не отпустят, если только сами не предусмотрят все до мелочей. А теперь исчезла Эста, и вот записка от нее, — конечно, такая же, какую мог бы оставить и он. Клайд нетерпеливо схватил ее, спеша прочитать, но в это мгновение в комнату вошла мать и, увидев у него в руках листок бумаги, воскликнула:

— Что это? Записка? От нее?

Он протянул ей записку, мать развернула ее и быстро прочла. Клайд заметил, как широкое, строгое лицо матери, всегда красновато-смуглое, побелело, когда она повернулась к дверям. Крупный рот сжался в резкую прямую линию. Большая сильная рука, державшая на весу маленькую записку, чуть-чуть дрожала.

— Эйса! — позвала она, входя в соседнюю комнату, где ждал муж; курчавые седеющие волосы на его круглой голове растрепались. — Прочти это!

Клайд, последовавший за матерью, увидел, как отец нервно схватил записку пухлой рукой и его старчески вялые, обмякшие губы странно задвигались. Всякий, кто хорошо знал его, сказал бы, что именно с таким видом Эйса и прежде принимал суровые удары судьбы.

— Тц! Тц! Тц! — только это он сначала и произнес — звук, показавшийся Клайду весьма маловыразительным. Новое: «Тц! Тц! Тц!» — и Эйса стал покачивать головой из стороны в сторону. Затем со словами: «Как ты думаешь,

почему она это сделала?» — он повернулся и уставился на жену, а та в ответ беспомощно смотрела на него. Затем он принялся расхаживать взад и вперед по комнате, заложив руки за спину, делая короткими ногами неестественно большие шаги и покачивая головой, и снова издал бессмысленное: «Тц! Тц! Тц!»

Миссис Гриффитс всегда сильнее чувствовала, живет на все отзывалась, чем ее муж, — и теперь, в этом тяжелом испытании, она вела себя иначе, естественнее. Какое-то возмущение, недовольство судьбой вместе с видимым физическим страданием, казалось, тенью прошло по ее лицу. Когда муж встал, она протянула руку и, взяв у него записку, впилась в нее глазами; на лице ее появилось жесткое, но в то же время страдальческое выражение. У нее был вид крайне взволнованного и раздосадованного человека, который силится и не может распутать какой-то узел, старается сохранить самообладание и не жаловаться и все-таки жалуется горько и гневно. Позади были долгие годы слепой веры и служения религии, и потому ее ограниченному уму представлялось, что она по справедливости должна быть избавлена от такого горя. Где же был ее Бог, ее Христос, в час, когда совершалось столь очевидное зло? Почему Он ей не помог? Как Он это объяснит? Где Его библейские обеты? Его вечное руководство? Его прославленное милосердие?

Клайд видел, что перед лицом такого огромного несчастья ей трудно найти ответ, — по крайней мере, сразу. Но в конце концов — Клайд был уверен — ей, несомненно, это удастся. Ибо и она, и Эйса, как и все фанатики, в каком-то ослеплении упорно отделяли Бога от зла, ошибок и несчастий, хотя и признавали за ним, несмотря ни на что, высшее могущество. Они будут искать корень зла в чем-то другом — в какой-то коварной, предательской, лживой силе, которая наперекор Божественному всеведению и всемогуществу соблазняет и обманывает людей, и в конце концов найдут объяснение в греховности и испорченности человеческого сердца — сердца, которое создал Бог, но которым Он не управляет, ибо не хочет управлять.

Но сейчас только боль и гнев бушевали в матери; и все же ее губы не кривились судорожно, как у Эйсы, и в гла-

зах не было такого глубокого отчаяния, как у него. Она отступила на шаг, снова почти сердито перечитала письмо и сказала Эйсе:

— Она сбежала с кем-то, но не сообщает...

И вдруг остановилась, вспомнив о присутствии детей: Клайд, Джулия и Фрэнк — все были здесь, и все напряженно, с любопытством и недоверием смотрели на мать.

— Поди сюда, — сказала она мужу, — мне нужно с тобой поговорить. А вы все шли бы спать, — прибавила она, обращаясь к детям, — мы сейчас вернемся.

Вместе с Эйсой она быстро прошла в маленькую комнату, примыкавшую к залу миссии. Дети услышали, как щелкнул выключатель, как родители заговорили вполголоса, и все трое многозначительно переглянулись, хотя Фрэнк был слишком мал (ему было всего десять лет), чтобы понять толком, что произошло. Даже Джулия вряд ли вполне понимала значение случившегося. Но Клайд, больше знакомый с жизнью, услышав фразу матери: «Она сбежала с кем-то», прекрасно все понял. Эсте опостылело все это так же, как и ему. Может быть, она убежала с одним из тех франтов, которых он видел на улицах с красивыми девушками? Но куда? И что это за человек? В записке что-то сказано, но мать не позволила прочитать ее. Слишком быстро отняла. Жаль, что не удалось втихомолку первому в нее заглянуть.

— Как ты думаешь, она совсем убежала? — с сомнением спросил он Джулию, когда родители ушли. Джулия казалась бледной и растерянной.

— Откуда я знаю! — ответила она с досадой: горе родителей и вся эта таинственность взволновали ее не меньше, чем поступок Эсты. — Она мне ничего не говорила. Я думаю, ей было совестно.

Джулия, более сдержанная и спокойная, чем Эста и Клайд, всегда была ближе к родителям и потому теперь огорчилась больше других детей. Правда, она не вполне понимала, что произошло, но кое-что подозревала, потому что и она иногда разговаривала с другими девочками, но только сдержанно и осторожно. Больше всего ее сердило, что Эста выбрала такой способ оставить семью: убе-

жала из дому тайком от родителей, от братьев, от нес, причинила родителям такое страшное горе! Это ужасно! Воздух был насыщен несчастьем.

Родители совещались в маленькой комнатке, а Клайд сидел, глубоко задумавшись: напряженно и пытливо он размышлял о жизни. Что же сделала Эста? Неужели это, как он со страхом предполагал, один из тех ужасных побегов, одна из тех не слишком красивых любовных историй, о которых постоянно шептались мальчишки на улицах и в школе? Какой позор, если так! Она, пожалуй, никогда не вернется. Сбежала с каким-то мужчиной. В этом, конечно, кроется что-то позорное и дурное для девушки, так как он постоянно слышал, что все приличные отношения между юношей и девушкой, между мужчиной и женщиной всегда приводят к одному — к браку. И вот, вдобавок ко всем прочим несчастьям их семьи, Эста пошла на такое! Конечно, их жизнь, и без того достаточно мрачная, станет теперь еще мрачнее!

Вскоре вернулись родители. В лице миссис Гриффитс, все еще напряженном и расстроенном, что-то изменилось: быть может, в нем было теперь меньше отчаяния, больше безнадежной покорности.

— Эста решила уехать от нас, во всяком случае на время, — сказала она, видя, что дети с любопытством ждут объяснений. — Вы не должны о ней тревожиться и много думать об этом. Я уверена, что она через некоторое время вернется. Пока, по некоторым причинам, она пошла своим путем. Да будет воля Господня! («Благословенно имя Господа», — вставил Эйса.) Я думала, что она была счастлива среди нас, но, по-видимому, я ошибалась. Как видно, она должна сама узнать жизнь. (Здесь Эйса опять издал свое: «Тц! Тц! Тц!») Но мы не должны думать о ней плохо. Это ни к чему. Да руководит нами лишь любовь и доброта.

Однако она сказала это с некоторой суровостью, противоречившей смыслу ее слов; голос ее звенел.

— Мы можем только надеяться, что она скоро поймет, как безумен и легкомыслен ее поступок, и вернется домой. Она не может быть счастлива на том пути, на который вступила. Это не путь Господа и не Его воля. Она

слишком молода и впала в заблуждение. Но мы ее прощаем. Мы должны простить. Наши сердца всегда будут открыты для нее, будут преисполнены любви и нежности.

Она говорила, словно обращаясь к большой аудитории, но голос ее звучал сурово и печально, лицо было холодное, застывшее.

— Теперь идите спать. Нам остается лишь уповать на милость Божию и молиться утром, в полдень и вечером, чтобы никакое зло не постигло ее. Да, хотела бы я, чтобы она этого не делала, — прибавила она без всякой связи со всей предыдущей речью, очевидно думая не о стоящих перед нею детях, а только об Эсте.

Но Эйса!

«Что это за отец!» — часто думал впоследствии Клайд.

Кроме собственного горя, он, казалось, еще способен был заметить более глубокое горе жены — но ничего больше! Все это время он бессмысленно стоял, склонив голову набок, — коротенький, седой, курчавый, ничтожный.

— Да будет благословенно имя Господне, — вставлял он время от времени. — Мы не должны закрывать перед нею наши сердца. Да, да, мы не должны осуждать. Мы должны лишь уповать на лучшее. Да, да! Хвала Господу! Восхвалим Господа! Аминь! О да! Тц! Тц! Тц!

— Если кто-нибудь спросит, где Эста, — после паузы продолжала миссис Гриффитс, даже не взглянув в сторону своего супруга и обращаясь к обступившим ее детям, — мы должны будем сказать, что она уехала к моим родным в Тонаванду. Это не совсем так, но мы ведь и сами не знаем правды, не знаем точно, где она... к тому же она может скоро вернуться. Значит, мы не должны говорить о ней ничего плохого, пока не узнаем всего.

— Да, хвала Господу, — слабо откликнулся Эйса.

— Если кто-нибудь спросит о ней, пока нам самим ничего не известно, надо отвечать так, как я сказала.

— Конечно, — сказал Клайд услужливо, а Джулия прибавила:

— Хорошо.

Миссис Гриффитс замолчала и строго, но в то же время как бы виновато посмотрела на детей. Эйса снова издал: «Тц! Тц! Тц!» — и детей отправили спать.

Клайду очень хотелось узнать, что же было в письме, но он на долгом опыте убедился, что мать ничего не скажет ему, если не сочтет нужным; он ушел в свою комнату, чувствуя, что устал. Почему родители больше не ищут Эсту, если есть надежда ее найти? Где она теперь, вот в эту минуту? Где-нибудь в пути, в поезде? Очевидно, она не желает, чтобы ее нашли. Наверно, ей было здесь так же невыносимо, как и ему. Еще так недавно он сам думал уйти куда-нибудь из дому, представлял себе, как отнеслась бы к этому семья, и вот сестра опередила его. Как это повлияет на его решение и на его поступки в будущем? По правде говоря, несмотря на горе отца и матери, Клайд не мог считать уход сестры таким уж несчастьем, — во всяком случае, не самый уход. Это просто лишнее доказательство, что в доме не все благополучно. Вся деятельность миссии ничего не значит. Во всех этих религиозных чувствах и разговорах тоже мало толку. Они не спасли Эсту. Очевидно, она, так же как и он, не особенно верила во все это.

ГЛАВА IV

Придя к такому заключению, Клайд стал упорнее, чем когда-либо, думать о своем будущем. Он решил, что должен сам предпринять что-то, и притом поскорее. До сих пор ему удавалось найти только такую работу, которая обычно достается мальчикам двенадцати—пятнадцати лет: как-то летом он помогал газетчику разносить газеты; другое лето (а по субботам и зимой) работал на складе магазина стандартных цен: открывал ящики и распаковывал товары, за что получал щедрое вознаграждение — пять долларов в неделю — сумму, казавшуюся ему тогда целым состоянием. Он чувствовал себя богачом и, наперекор родителям, которые считали театр и кино делом не только мирским, но и греховным, изредка бывал в этих запретных местах где-нибудь на галерке. Такие развлечения приходилось скрывать от родителей. Но это не удерживало Клайда. Он полагал, что имеет право распоряжаться своими деньгами и даже брать с собой младшего брата Фрэн-

ка, который рад был пойти с ним и ни разу не проговорился.

Несколько позже, в тот же год, Клайд решил оставить школу, так как уже сам чувствовал, что слишком отстал; он устроился помощником продавца содовой воды в аптекарском магазине средней руки; магазин находился рядом с театром и был как бы под его покровительством. Проходя мимо по дороге в школу, Клайд случайно увидел объявление: «Требуется мальчик». Затем он поговорил с молодым человеком, помощником которого ему предстояло сделаться и который готов был обучить Клайда новой профессии, если тот будет понятлив и услужлив; из их беседы Клайд понял, что, усвоив это искусство, сможет зарабатывать пятнадцать и даже восемнадцать долларов в неделю. По слухам, столько получают двое служащих в магазине Струда на углу Четырнадцатой и Балтимор-стрит. Магазин, куда хотел поступить Клайд, платил, однако, только двенадцать долларов — обычную ставку в таких заведениях.

Но чтобы постичь это искусство, как сообщили ему, нужно время и дружеская помощь опытного человека. Если он желает поступить сюда и работать для начала за пять долларов (лицо Клайда вытянулось), — ну, скажем, за шесть, — он скоро овладеет искусством составлять сладкие напитки и сдабривать сиропами всевозможные сорта мороженого. Но сперва Клайд будет учеником, а значит, он должен мыть и чистить сифоны и всю посуду на стойке и, само собой, в половине восьмого открывать магазин, подметать, стирать пыль, а также исполнять всякие поручения, которые может дать ему хозяин. В те минуты, когда его непосредственное начальство мистер Зиберлинг — самоуверенный и болтливый двадцатилетний франт — будет перегружен заказами, он передоверит Клайду приготовление несложных смесей из лимонада, кока-колы и тому подобного.

И вот Клайд, посоветовавшись с матерью, решил принять это выгодное предложение. Во-первых, рассчитывал он, здесь можно будет бесплатно полакомиться мороженым — немалое преимущество. Во-вторых, как он думал

в то время, это откроет ему путь к какой-то профессии, чего ему очень не хватало. Затем — и это тоже большое преимущество — ему придется задерживаться на работе поздно, до двенадцати ночи, а взамен у него будут свободные часы днем. И значит, по вечерам он не будет дома и не будет посещать вечерних классов в десять часов. От него уже не смогут требовать помощи на молитвенных собраниях, разве только в воскресенье, да и по воскресеньям он тоже будет занят после обеда и вечером.

Кроме того, продавец содовой воды регулярно может получать контрамарки от администратора соседнего театра, боковая дверь ведет из магазина прямо в фойе. Клайд пришел в восторг: так интересно работать в магазине, который составляет как бы часть театра.

Но самое главное — к удовольствию, а порой и к отчаянию Клайда, — перед каждым спектаклем, а в дни утренних представлений и после спектакля, здесь собирались статистки; они приходили в одиночку или группами, усаживались у прилавка, болтали, смеялись, поправляли перед зеркалом прическу, подкрашивались и пудрились. И Клайд, неопытный птенец, незнакомый с обычаями света, с привычками и манерами женщин, не уставал любоваться красотой этих посетительниц, их смелостью, самоуверенностью и грацией.

Перебивая стаканы, накладывая мороженое, наливая сиропы, укладывая на подносах лимоны и апельсины, он впервые в жизни мог вблизи наблюдать этих девушек. Они — просто чудо! Почти все так хорошо одеты — кольца, брошки, меха, восхитительные шляпки, красивые туфли! И как часто он слышал разговоры об интереснейших вещах: о пикниках, танцах, обедах, виденных ими спектаклях, о прогулках по окрестностям Канзас-Сити, о том, чем отличается нынешняя мода от прошлогодней и как очаровательны некоторые актеры и актрисы, — главное, конечно, актеры! — которые играют сейчас в городе или скоро приедут на гастроли. Дома Клайд ни о чем таком не слышал.

И очень часто то одну, то другую из этих юных красавиц сопровождал какой-нибудь молодой человек во фраке,

в крахмальной манишке, в цилиндре, галстук бабочкой, белых лайковых перчатках, лакированных ботинках, — в костюме, который в то время казался Клайду последним словом хорошего тона, красоты, изящества, благополучия. Носить бы такой костюм и с таким же непринужденным видом! Разговаривать с девушкой так же свободно и хладнокровно, как эти франты! Вот верх совершенства! Ни одна красивая девушка, казалось тогда Клайду, и смотреть на него не станет, если у него не будет такого костюма. Это просто необходимо, это главное! И если только Клайд достигнет этого — сумеет вот так одеться, — разве это не будет означать, что он твердо стал на путь, ведущий к блаженству? Все радости жизни, конечно, раскроются перед ним. Ласковые улыбки! Тайные пожатия рук, и, может быть, его рука вокруг девичьей талии... поцелуй... обещание жениться... и потом, потом...

И все это — как внезапный луч света после долгих лет, когда надо было без конца ходить с отцом и матерью по улицам, сидеть на молитвенных собраниях, выслушивать неопишуемых, нелепых чудаков, опустившихся и сбившихся с пути, — вечно они рассказывают, как Христос спас их и что Бог сделал для них. Будьте уверены, теперь он от всего этого избавится. Он будет работать, копить деньги — и станет человеком... Поистине, этот несложный, но образцовый набор банальностей сиял, как чудо духовного перерождения! Это был мираж, возникший перед жаждущим путником — жертвой пустыни.

Однако Клайд быстро убедился, что одно плохо в его новом положении: хотя здесь и можно было научиться составлять различные фруктовые напитки и зарабатывать двенадцать долларов в неделю, это отнюдь не приближало часа, когда сбудутся недавшие его честолюбивые надежды и стремления. Альберт Зиберлинг, его непосредственное начальство, твердо решил сохранить для себя одного как секреты ремесла, так и наиболее приятную часть работы. И притом он, заодно с их хозяином-аптекарем, полагал, что Клайд должен не только помогать ему, Зиберлингу, в приготовлении напитков, но еще и бегать по всяким поручениям хозяина, а это отнимало у Клайда чуть ли не весь рабочий день.

Словом, Клайду было мало толку от этой работы: он никак не мог одеться лучше, чем прежде. Хуже того, Клайда угнетало, что у него очень мало денег, почти нет знакомых и связей. В сущности, вне своей семьи он был совсем одинок — и едва ли менее одинок в семье.

Бегство Эсты неблагоприятно отразилось на миссионерской деятельности в Канзасе. И так как Эста не вернулась, родители Клайда стали подумывать о переезде, за неимением лучшего, в Денвер, штат Колорадо. Но Клайд решительно не хотел с ними ехать. «Какой смысл? — спрашивал он себя. — Там просто будет еще одна миссия, точно такая же, как и здесь».

Он всегда жил с родителями — в квартире при миссии на улице Бикел — и терпеть не мог эту жизнь. С одиннадцати лет, с тех пор как семья приехала в Канзас-Сити, он стыдился приводить знакомых мальчиков к себе домой. Поэтому он никогда не имел друзей, а гулял и играл почти всегда один или с братом и сестрами.

Но теперь ему уже шестнадцать, он достаточно взрослый, чтобы жить по-своему, и должен избавиться от такой жизни! Однако он слишком мало зарабатывал — мало того, чтобы прожить одному, и ему не хватало еще умения и смелости для того, чтобы устроиться лучше.

Тем не менее, когда родители заговорили о переезде в Денвер и, не допуская и мысли, что Клайд не захочет поехать с ними, упомянули о возможности для него получить там работу, Клайд стал исподволь намекать, что ему лучше остаться здесь. Он любит Канзас-Сити. Что толку от перемен? У него здесь есть работа, а может быть, он найдет и что-нибудь получше. Но родители, помня о судьбе Эсты, были в большом сомнении. Что может выйти из его попытки так рано начать самостоятельную жизнь? Где он будет жить после их отъезда? С кем? С какими влияниями столкнется в жизни и кто будет рядом, чтобы помочь ему, дать добрый совет, направлять его по стезе добродетели, стезе, которой следовали они сами? Обо всем этом надо подумать.

Клайд был сильно напуган: переезд в Денвер казался неизбежным и приближался с каждым днем; вдобавок

как раз в это время мистер Зиберлинг из-за своей чрезмерной любезности по отношению к прекрасному полу потерял место; в аптекарском магазине появился новый старший продавец, костлявый и мрачный; он, видимо, не желал иметь Клайда своим помощником. И Клайд решил уйти оттуда, но не сразу: сначала, бегая по городу со всякими поручениями, он попытается подыскать себе другое место. И вот во время этих поисков ему однажды пришла в голову мысль обратиться к продавцу прохладительных напитков в большом аптекарском магазине при главном отеле города; отель этот, великолепное двенадцатиэтажное здание, казался Клайду квинтэссенцией роскоши и комфорта. Его окна всегда были плотно завешены, главный вход (Клайд не решался заглянуть дальше) был вычурным сочетанием стекла и металла; за дверями виднелся мраморный коридор, уставленный пальмами. Клайд часто проходил мимо, с мальчишеским любопытством размышляя о том, что за жизнь там, внутри? У подъезда всегда ожидало столько такси и частных автомобилей!

В тот день, подгоняемый необходимостью что-то предпринять, Клайд вошел в аптекарский магазин, занимавший в здании отеля угловое помещение, выходившее на Четырнадцатую и Балтимор-стрит. Увидев кассиршу в маленькой стеклянной будке у входа, Клайд спросил, кто у них здесь ведает продажей содовой воды.

Кассирше понравились его робкие, неуверенные манеры и глубокие, словно умоляющие глаза; она сразу угадала, что мальчик ищет работу.

— Да вот мистер Сикор, управляющий магазином, — сказала она.

Она кивнула в сторону невысокого, строго одетого человека лет тридцати пяти, который устраивал на стеклянном прилавке выставку туалетных новинок. Клайд подошел к нему и, еще не вполне понимая, как надо действовать, когда хочешь чего-то добиться в жизни, но видя, однако, что этот человек поглощен своим занятием, остановился, переминаясь с ноги на ногу, и стоял до тех пор, пока управляющий наконец не почувствовал, что кто-то находится сзади, и не обернулся.

ОГЛАВЛЕНИЕ

КНИГА ПЕРВАЯ	5
КНИГА ВТОРАЯ	166
КНИГА ТРЕТЬЯ	564